

18+

Ли́за Боре́йш

Блудный
сын
Франции

Лиза Борейш
Блудный сын Франции. Роман

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=20583987

ISBN 9785448308277

Аннотация

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Это история француза, который потерял Родину, но нашёл в себе силы вернуться и стать творческим человеком на полную катушку. Жажда жизни приводит к запою. Книга содержит нецензурную брань.

Блудный сын Франции

Роман

Лиза Борейш

Иллюстратор Наталья Ямщикова

Дизайнер обложки Наталья Ямщикова

© Лиза Борейш, 2016

© Наталья Ямщикова, иллюстрации, 2016

© Наталья Ямщикова, дизайн обложки, 2016

ISBN 978-5-4483-0827-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

В пятнадцать лет я чуть было не стал убийцей. Мне не хватило нескольких минут. Он умер у меня на глазах, а я ничего не мог с этим поделать. Двадцать шестое ноября, тяжёлая картина. Всё пошло прахом. В лице меня прозвали «И». У меня был приятель Жак, ботаник, который давал мне списывать химию и все предметы, где есть формулы. У Жака не было девушки, и он из-за этого впадал в неуверенность. У меня не было девушки, потому что я не был влюблён. У Жака была мать – серая мышка, у неё – муж, свобод-

ный художник. Его звали Жорж Либерман. Когда я приходил к Жаку в гости, мы болтали о разных вещах. Они кажутся мне бессмысленными и опустевшими. Будто из них слили всю воду или кровь. Пустопорожние понятия, мёртвая тишина. Серая мышка была обязана художнику тем, что он вообще есть в её жизни. Он женился, потому что в животе у неё завёлся Жак. Жорж Либерман часто женился. Он рисовал особенные картины, странные, абстрактные, но понятные, что-то вроде вороны, которая сидит прямо на солнце, и это означает, что конец света уже близок. Жорж Либерман был тем человеком, которого я не убил.

Убить – это значит лишить жизни. Он начал первый. Не убивая меня, он поставил на моей жизни крест. Она и так-то мне не очень нравилась, кому понравится его жизнь в пятнадцать лет в доме нелюбимых родственников? Никому она не понравится. А их любимые взрослые дети? Которых ставят в пример? Да, моя жизнь шла не в гору, а под гору, я убежал от неё, как мог. Я врал, и тратил деньги, и пробовал наркотики. Я сделал своим родственникам (не родным, внимание, у меня их нет) много зла, но мне не очень стыдно. Я расскажу, что такое очень стыдно. Так вышло, что девятнадцатое мая выдалось воскресеньем – настоящим выходным днём до мозга костей. Это был хороший день, до тех пор, пока Жорж Либерман меня не изнасиловал. Дальше наступил кошмар. Я не мог собрать слова в фразы, не мог понять, сколько времени, почему я нахожусь дома у своего дру-

га, а Жака тут нет. Такой день, когда слова вышли из моды, обнажив свою чёрную суть. У меня звенело в ушах, и вообще, ощущений было слишком много, чтобы с ними мириться. Жорж сильнее меня. Не верится. Вроде такой тощий тип, любит женщин. До этого мы пили с ним чёрный чай, слишком крепкий. Ночью мне приснилось что-то плохое, какие-то странные люди, которые строят метро, и по всему Парижу слышен метроном, через ровные-ровные промежутки времени. Это был тысяча девятьсот семьдесят пятый год. Я проснулся от мёртвой тишины, как пишут в книгах, я сам хотел сочинять книги. Я не хотел идти в гости, но пошёл. Какой-то нелепый сон был неделю назад, что я переспал со своей смертью, наверное, потому что я видел фильм «Орфей» с Жаном Кокто. Там был примерно такой сюжет. В Париже не всегда хорошо. Я видел Париж из окна Либермана и хотел умереть, как в поговорке. Меня трясло, но я не умирал. А может, уже умер. Я начал жалеть себя. Я не люблю жалость и фальшивую жалость в виде слов. Жорж сказал мне, чтобы я шёл домой. Так, как будто всё нормально. Ему надо заканчивать свою картину. У меня не хватило бы на такое наглости! Он даже не спросил, кому я расскажу. Я первый зачем-то брякнул, что никому. Видимо, я слишком боялся смерти. Я решил идти домой медленно и неверно, петляя по улицам. Со мной происходили разные гадости, вообще, вроде побегов из школы, из дома, меня колотили около церкви, мне делали операцию без общего наркоза, и я видел,

что делается, меня учили плавать, но безуспешно, я ел манную кашу, которую ненавижу и я запомнил её вкус. Я боялся того, что мои родители не умерли, а оставили меня дяде и тёте. Что я им был просто не нужен. Жорж Либерман побил все рекорды моего отвращения, страха, ненависти, хаоса, тошноты. Он взял своё силой. Я не хотел бы в следующей жизни родиться симпатичным мальчиком. Лучше дурнушкой. С веснушками. Взошла луна. Я привык к мысли, что ничего не произошло, я особо не ранен, ничего героического в этом нет, а просто стареющий развратник поступил со мной по-хамски. Я не дал сдачи жестокому человеку. Не смог постоять за себя. Всё. Ничего святого, никакой я не мученик, и это правда. Веди я себя лучше, очень возможно, мне не было бы так плохо сейчас. Я сам нарвался. Тем не менее, я не мог спрятаться в своём унижении надёжно, потому что моя жизнь остановилась, и я подумал, что сам становлюсь землёй или разбитым кем-то стеклом, или проституткой, или может, игрушкой этого самого художника. Я возненавидел все его картины. Я вообще не мог разглядеть на улице ничего красивого, луна, казалось, скалится на меня. Звёзды – это окурки. Что-то совсем нехорошее. Я понял, что у меня поедет крыша, если я не приму какого-то решения, если не вытолкну эту гадость из горла, из лёгких, из помыслов. А, да. Я плакал над собой два часа. Довольно много для парня. Мне стало трудно дышать, потому что в глотке появился какой-то шар, который делал меня похо-

жим на древесную дождевую лягушку. Я не мог говорить. Я стал думать. Есть только два выхода из сложившейся ситуации. Или молчать об этом, или идти в полицию и всё рассказывать как есть. И в том и в другом варианте меня ждало унижение. Так – личное, этак – публичное. Что хуже: когда никто не знает, что с тобой сделали, или когда все знают? Мне требовалось поставить Жоржа на место. Я понял, что не смогу рассказать о случившемся. Не смогу, стыдно. Чтоб он сдох! Я отдышался и понял: «Надо сделать, чтоб он сдох».

Я замыслил убийство. Таким образом, никто не узнает, что со мной стряслось, а Жорж получит по заслугам. Если меня, конечно, не поймают. Если это случится, я покончу с собой. Это решено. Я не хотел умирать и быть опозоренным. Я хотел убить Жоржа и не мучиться. Вот, это два моих желания. Одно вытекает из другого. Я пришёл домой, где меня строгим голосом отчитал дядя, что я шляюсь где-то, пропускаю какие-то важные школьные собрания, говорю каким-то не таким голосом. Да, у нас в семье не положено вопить по ночам в присутствии старших. Этот индюк разошёлся не на шутку, и я понял, что ещё одно слово – и я провалюсь от стыда сквозь землю. Он сказал ещё пару слов, и я ушёл в свою комнату, зелёный от тоски. Ночью мне показалось, что я не чувствую пальцев на ногах. Я проснулся от чувства инея. А потом замёрзли пальцы рук, вся десятка. Нелепая была мысль – если не отморозятся назад, я не смогу быть писателем, как мне мечталось, – как я без левой руки?

Я пишу от руки. Дядина печатная машинка слишком громко стучит. На ней печатает тётя. И тут у меня из носа хлынула кровь. Даже в темноте я чувствовал, какая она красная. Очень тёмная, будто её делали из пиявок и перелили в меня. Она была как платок. Солёный алый платок, и никак не хочет свернуться. Я думал, что если встать – она совсем обнаглеть и превратится в шарф, и останутся следы, пока я буду искать мокрое полотенце. Буду утром мыть ковёр. Специальной штукой, с пеной. Я лежал и пялился на кактусы. На подоконнике среди ночи они казались мне мёртвыми. А она всё шла и шла. Я решил было, что и хорошо – пусть идёт, вытечет вся, и я умру, и не придётся убивать Жоржа Либермана. Я вспомнил что-то про Жака, что он парень, в принципе, совсем не плохой, и жалко, что его отец – такая поганая раскованная тварь. Как я Жаку скажу? Не скажу. Нет. Мне однажды было нехорошо, всё вокруг стало чёрным, как будто смотришь сквозь очки, а коридор казался долгим-долгим, и листья, и цветы – всё было чёрно-прозрачным. Тогда Жак мне сказал, что пройдёт. Сказал, что у творческих людей это бывает. Мне сразу стало как-то легче, а потом это тёмное действительно прошло. Я видел чёрную луну той ночью. Я не к месту стал грустить по маме и папе, я их называл всегда «родители», не мог пересилить себя. Я их не помнил. И думал: «Ну почему я не помню? Неужели в них не было ничего, что бы врезалось в память? Ну, хоть бы цвет глаз или шутка какая-то. Я на них похож, наверное». Они разбились на ма-

шине, пьяные за рулём. У меня плохая наследственность, я не буду водить машину. Я стал считать. Думал, так приду к финишу быстрее. Мне надоело считать, я не любил никогда математику. Кровь остановилась, пальцы разморозились. Я вернулся в реальность, которая меня давила своей безразличностью. Мне было холодно. Мне казалось, что под Парижем есть ещё один Париж, и там собираются всякие мучители и творятся жуткие вещи, и Жорж спускается в метро, а там есть лаз, откуда можно попасть в этот тайный Париж. Может, они там устраивают страшные шоу, или издеваются над пришельцами? Я верил в пришельцев, когда был маленьким, и тут мне припомнились их глаза. Я сожалел о том, что инопланетяне, если существуют, наверное, жестоко мучаются. Испугался Вселенной. Она бесконечная и почти пустая, она почти мёртвая. Может, мы скоро умрём тоже. И это хорошо – не придётся убивать Жоржа Либермана. Я боялся его, вот в чём дело. Мне не было жалко или ещё что-то такое. Не в морали дело, а в том, что колени могут подогнуться в самый важный момент. Я понимаю, что звучит жутковато, но у меня не было знакомых убийц. Ни единого! Я бы спросил, что и как надо делать, как спрашивают у старших приятелей – а как вести себя с девушкой, чтобы она не отказала тебе?

Когда пришло утро, я сказал, что себя отвратительно чувствую и буду лежать камнем, пока мне не полегчает. Я боялся, что они призовут врача, но они не призвали. Мне повез-

ло. Я стал думать, как решить свою проблему. Перво-наперво, месть подадут холодной. Не имеет значения, кто именно это сказал. Это первое, что я узнал о мести. Сгоряча можно запороть весь процесс. Главное – результат, но от процесса не отделаться. Или свой собственный, или судебный. Значит, надо подождать. Чтобы никто не подумал, что я – убийца. Я потерплю. Я дам ему прожить ещё полгода. Проблема: я не могу его видеть, нервы сдадут. Я себя выдам. Только в день убийства, если это будет день. Я не могу ссориться с Жоржем, поэтому надо поссориться с Жаком. Раз и навсегда. Без сучка без задоринки. Я перестал ходить к ним в гости, потому что поссорился с Жаком. Невесело нагнетать разрыв с другом, который ни в чём не виноват. Но поссориться было надо. Я сделал это, добившись от Жака признания того, что он мне завидует. Грязной чёрной завистью. Учитывая всё, что происходило, это довольно глупо. Ссору никогда не надо начинать в лоб: станет сразу ясно, что это повод. А если человек, с которым надо разругаться, не дурак, да ещё и память у него не дырявая, это может быть использовано против вас. Как-то раз я подошёл к Жаку (мне стало лучше дня через два), и сказал, что хочу знать его мнение о моём рассказе. Я сочинял короткие рассказы. Жак сидел на скамейке у лица и читал детектив. Любил он это дело! Беллетристика и учёба.

– Жак, салют!

– А, это ты. Как здоровье?

– Хорошо. Слушай, я придумал новую штуку!

– Давай потом.

– Когда?

– Ну, видишь, и я читаю.

– Что?

– Детектив.

– Потом дочитаешь, а?

– Уйди, я на самом интересном месте, не стой над душой!

– Да тут читать, судя по закладке, ещё час!

– Да хоть два! Дай мне почитать!

– Значит, детективы тебе интересны, а рассказ твоего лучшего друга – нет? Конечно, важнее узнать, что случится в дешёвом выдуманном полицейском участке, какой торговец колбасой укажет, кто есть настоящий мясник?! Да, Жак, у тебя явные проблемы со вкусом – раз. С чувством такта – два.

– Да я только и делаю, что слушаю твои рассказы! И, знаешь ли, ничего особенного! Начало интересное, а потом – всё как попало.

– А какого чёрта лысого ты их хвалишь?!

– Ну, они ничего. Если ты будешь учиться, сделаешь лучше.

– То они у тебя ничего, то ничего особенного! Ты уж определись. Твой отец, вот, не такая тряпка: он говорит как есть. Нравится ему что-то – значит да, нет – значит нет, он лучше поссорится, чем так отмахнётся, как ты. Сиди, читай свои детективы. Я больше слова тебе не скажу о том, что я пишу.

С тобой вообще не о чем разговаривать, кроме уроков и того, куда бы пойти учиться! Скука!

– Да хватит уже, остынь.

– Это ты остынь, Жак! Думаешь, я не знаю, что ты мне завидуешь? Противно, когда у твоего друга талант, у твоего отца – большой талант, а у тебя – всего лишь хорошие оценки!

И всё в таком духе. Действительно, Жак немного завидовал тем, кто его ярче, но я сгустил краски. Так легче устроить разрыв. Жак, как всякий нормальный человек, на меня, в конце концов, обиделся. Этого я и добивался. У меня камень с души полетел. Учебный год летел к концу, что было мне только на руку, так как шансов мириться становилось всё меньше. Все сдали или не сдали экзамены, и началось полноценное лето. Для кого-то это означало «летние каникулы». Для меня это была летняя тоска. Изматывающее, удушливое состояние. Пыль на дорогах, лодки на реке. Дети поют песни и собирают черешню. Дядя, тётя и их дети говорят, что в Италию не поедем. Все, кроме меня, видите ли, заняты делом. Я был занят, и ещё как. Я думал. И от этого болели зубы. Именно от этого. Их сводило, я ими аж скрипел. Пошёл в библиотеку – читать про убийц. Сказал, что хочу написать рассказ для конкурса. Детективный. Тогда талантливая молодёжь была в цене, и библиотекаряша только поприветствовала то, что я не гоняю в футбол, а тянусь к знаниям. Та ещё дамочка! Приходит к ней очень подозритель-

ный тип и говорит, что ему не мешало бы прочитать что-нибудь по предмету «психология убийства». Вот разве есть такой предмет? Ну, это я образно. Я сказал, что могу взять книги домой, а могу читать и здесь, это очень важно. Сроки конкурса поджимают. Действительно, я участвовал в литературном состязании юных психов, которые возомнили себя литераторами. Но я не собирался никакой детектив им сочинять. Не мой жанр. Я уверен, что максимум, на что я способен – это просто история про убийцу. Когда с самого начала знаешь, кто это такой и зачем убивает. Долго ждал книг. Мне принесли дюжину или чёртову дюжину – толстых и пыльных. Сказали, читать здесь, они редкие. Студенты часто их спрашивают. Я сел за дело, закатал рукава и достал блокнот.

Чем дальше я читал, тем меньше мне всё это нравилось. Учебник судебной медицины с картинками! Иллюстрации психически больных! Наелся до тошноты. Я удивился, что убийства происходят так часто и по таким разным причинам. А то и вовсе без причины. Найдёт какой-нибудь психопат повод – и вперёд! Садистов – хоть отбавляй. Они получают удовольствие от чужого мучения, ну и не люди! Я собирался стать убийцей, но у меня имелись веские основания и строгие рамки. Во-первых, это месть, так как обида и горечь и, вообще, это поганое состояние не проходили. Отвращение к себе. Отвращение к людям. Равнодушие. Желание уйти из общества, как из школы. Невозможность представить себе любовь как что-то хорошее. Это не повод, это мотив. К то-

му же, я сделаю это всего один раз. Один. Мой насильник будет наказан, и я смогу жить дальше. Мне будет намного лучше, я уверюсь, что даром такое не проходит и никто ничего не узнает. Я убью художника и стану писателем. Вот так я и поступлю. Мне не нужны никакие прибаамбасы. Пистолет. Яд. Имитация ограбления или несчастного случая. Это всё никуда не годится. У меня для убийства нет ни опыта, ни таланта. Я, скорее, защищаюсь, только с большим опозданием.

Решил остановиться на ударе битой. Бейсбольной, по черепу, сзади, со всей дури. Не один Жорж любит сзади со всей дури. Я эту дурь из него повышибу, вместе с грязной его душой! Нет у него никакой души, одни инстинкты. Ну, и кисточкой ещё размахивать умеет. С меня хватит. Размахивать буду я. Тем временем у Жоржа намечалась персональная выставка, а для такого павлина это было что-то вроде Судного Дня, только с оправдательным акцентом. Мне позвонил Жак. В самый разгар летней тоски, подгадал.

– И?

– Чего тебе?

– Пошли на выставку. Мой отец, в общем, пошли.

– Не пойду.

– Ты всё лето будешь строить из себя невесть что? Я уже забыл, на что ты там обиделся.

– Забыл и хорошо. Я не пойду. Глаза сильно болят. Рябить будет.

– Да ну тебя! Мне вообще не с кем идти.

– Иди с чёртом.

Жак повесил трубку, и мне стало неудобно перед ним из-за отца. Я пошёл в какой-то захудалый магазин спортивных товаров и купил биты. На неё была скидка. Вот бы и на убийство она была. На Луне сила тяжести в шесть раз меньше нашей. Вот бы тяжесть преступлений там была меньше. Я бы замочил мерзавца, затащив его предварительно на луну. Какие странные мысли. Я чувствовал пустоту, от которой боялся сойти с ума. Мне хотелось уехать из Парижа куда-то южнее. В деревню, где нет библиотек, и только маячит вдалеке старая овчарня. И дикий виноград с его красными листьями, лозами струящийся к земле. И чтобы солнце и река без краёв. А лодки, в которых не плавают, но мирно спят на чистом песке, а если лодки нет на месте – её силуэт покрыт сплошь живыми синими бабочками, такими лазурными, как само взморье. Бабочки морской волны. А вечером я хочу сидеть на балконе из дерева и слушать ночных птиц. И видеть угасающий свет дня, постепенно слепнуть, и обрести ночное зрение. Я дневной – я ночной. Я явный – я тайный. Я жертва – я убийца.

Сочинил странное стихотворение, сидя в комнате, утомившись от августа. В этих строчках было что-то пророческое. Как будто я видел будущее, и оно таким сделалось по моему заказу. Знаете, когда чувствуете, что это как будто знак? Я не суеверный, ничего такого. Это такое чувство, что

трудно сказать, к чему относится. Оно острое и тонкое, как нож. Как боль. Как край бумаги. Я тут задумался, что бумага может стать при желании таким же орудием убийства, как камень или ножницы. Острый край – и сразу в рай. Бумагу недооценивают. Она не безобидна. Мою тётю звали Флёр, но эта толстая ханжа на цветок не походила, это точно. Скорее, на какой-нибудь пирог, набитый начинкой до отвала. С утра пораньше ей вступила в голову гениальная идея. Мне надо работать. С такими успехами в школе я далеко не пойду. Вот уж точно, и не мечтай ни о каких там литературных курсах! (А я мечтал почище иного влюблённого) Тётя Флёр решила испоганить мою жизнь сразу после школы. Да ещё и дядя её в этом поддержал. Хорошо, оставим это на потом. Вступило этой даме в голову, что из меня со временем выйдет хороший садовник! Я же не говорю, что она станет отличной старухой лет через двадцать! А она станет. С какой дури она взяла, что мне захочется садоводством убиваться – я так и не понял. Видать, ей запало в душу, что я разбираюсь в растениях. В лекарственных в том числе. Люблю ботанику. Наша учительница по ботанике была славной женщиной. Когда кто-то бегал по её кабинету и ломал цветы, она громко ругалась: «Паразиты!» Вот это правильный подход. Так их, всех моих надменных сотоварищей. Ну и тётя Флёр решила, что паразитом мне не бывать, по крайней мере, не за их с дядей счёт. Вот так рассказываешь байку из своей молодой жизни, а тебе ставят на вид, что ты ничего не делаешь.

Я прочёл в газете, что выставка Либермана прошла с большим успехом, но ему стало в конце нехорошо. (Ох, как я радовался, пить надо меньше! Сердце прихватило! У Жоржа не сердце прихватило, его нет, а печень. Не хочу хвастаться, но в его возрасте не надо пить так, как в моём. Кстати, а ведь в нашу последнюю встречу это я был навеселе, а не он!) Я – трудный подросток, а он – грязный старик. Почувствуйте разницу, ему пятьдесят один! Пора-пора, Либерман, закругляться. Мне не важно, на какой свет ты отправишься, но солнце ты загораживать мне не будешь и расходовать мой кислород – не будешь! Надышался, нагрелся, испоганил многим жизнь (я знал от Жака, что Дениз – третья жена паршивца), но не знал, являюсь ли я рекордом его пакостей. Возможно, что и нет, и не надо тянуть на себя терновый венец. Мне хуже всех! Очень удобная позиция. Последние дни августа прошли без шума и ярости, я не был обкурен, я не был пьян, я собирался в школу и вёл у себя в дневнике записи. В том дневнике, который личный. Жаль, но его придётся сжечь. Я не могу оставлять такие записи при себе. А не записывать туда важное я тоже не могу. Я люблю помнить, как можно дольше. Я записываю в дневник мрачные стихи и зловещие планы. Последние – в самых общих чертах.

С наступлением осени время начинает идти быстрее, заставляя меня собраться с силами. Я не разговариваю с Жаком. Дал ему прозвище «Жако», дескать, он повторяет чужие

остроумные фразы и высказывания, не в силах сказать ничего своего. Это сработало: Либермана-младшего стали дразнить, и он окончательно во мне разочаровался. Дружба умерла. Получилось. Я от него отделался, я это чувствовал. И он тоже. Я остался без друзей и проблем. На уроке математики, которая давалась мне хуже, чем всё остальное, я вспомнил, что забыл о перчатках. Именно в самые неподходящие моменты мне вступают в голову верные мысли! А что если на бите останутся отпечатки моих пальцев? Я её, конечно, выкину, но мало ли? Я очень далёк от спорта (я ведь ребёнок нервный, слабенький, не то что мой дражайший кузенище Лоран, уж он-то не подведёт, выступит на городском празднике!) и не знаю, какие перчатки кто носит. Знаю только, что в футбол играют всем, кроме рук. Да и к тому же, надо такие перчатки, которые сжечь очень легко! Садовые перчатки! Такие тряпичные, но плотные. В садоводстве есть своя изюминка. Теперь я понимаю, что значит «врага голыми руками не возьмёшь». Надо не оставлять отпечатков. Перестраховался – и забивай на здоровье садового вредителя! Да, о садово-парковом. Жорж Либерман выходил гулять с сигарой вечером в один небольшой парк, тот, что рядом с его домом. Как штык! С девяти до десяти он ходит и скептически озирает мир, вот, мол, все суетятся, копошатся и ползают, а он будет рисовать их шевеление! У, гнида! Я, было, дал ему прозвище «Паук», но вот это вот на букву «г» Жоржу подходило больше. Когда я узнал, что Эдит, девочка, с ко-

торой вроде бы стал дружить Жак, тайно влюблена в его отца – гениального художника – так, теоретически-романтически- невинно, но всё- таки влюблена, меня перегнуло пополам! А почему, собственно, он вообще нравится женщинам?! По какому такому праву? Всё хорошее когда-нибудь кончается. Меня стали мучить ночные кошмары. Они пришли тогда, когда солнце стало холодным. Около треклятого лица, если смотреть с третьего этажа из окна, виден пяточок дикой герани, светло-сиреневого цвета. Уж не знаю, с какой стати, но эта герань выводила меня из себя. Я по ночам видел, как иду по цветам, а под ними скрывается болото, и я туда медленно погружаюсь. Очень постепенно, очень неизбежно. Я кричу, а никого нет, чтобы меня услышать, и в итоге меня просто засасывает в эту лужу зелёного и фиолетового. Я тону. Тону. Я просыпаюсь с тяжёлым чувством предстоящего. Я знаю своё будущее. Я не верю в толкование сновидений. Всю осень я не мог выбрать, что хуже: бессонница или кошмар, снотворное или крепкий чай из китайского лимонника. Я не учился на совесть. Я на совесть ждал, когда я покончу со всей этой белибердой. Думал, а сколько времени надо будет потом бояться? Если меня не схватят? До конца учебного года? Как понять, что на меня никто не подумает? Когда можно переставать читать про себя молитвы, в которые не очень-то веришь, особенно учитывая обстоятельства? Совершил смертный грех – и молишься, чтобы тебя не скрутили! Да все они так делают, я почти уверен. Убийцы. Гра-

бители. Насильники. Думаю, все боятся наказания.

– Ты полил цветы?

– Да, мадам Атгаль.

– Ты хороший мальчик, Ив. Не то что эти паразиты. Им бы понравилось, если бы их руки и ноги поломали? Растения тоже живые!

Натали, моя кузина, решила выйти замуж, и это стало событием! Несколько недель меня никто не трогал, не допекал, не расспрашивал, куда я хожу по вечерам, почему я прогуливаю школу, как же славно было! Всем больше нравится заниматься счастливыми детьми, чем вредными. Хотя она уже и не ребёнок. От меня все отвлеклись. Я просчитал, просто глядя на календарь, что этот свадебный переполох растянется месяца на два и кончится где-то в конце ноября счастливо. Тут осечки быть не может. Натали выходила замуж по расчёту, и женились на ней по той же схеме. Я пойду на свадьбу, иначе и быть не может. А если кто-нибудь спросит, где это я был в такой-то день, скажу – так вот же! На милом семейном празднике! Надо обязательно там будет сфотографироваться. Обязательно кто-нибудь скажет: «Он крутился где-то тут». Лучшего дня не найти. Схожу посмотрю на церемонию, начнётся праздник. Тётя Флёр столько всего наготовит, что встать из-за стола будет возможно не раньше полуночи. Это у неё в заводе. Когда речь идёт о творчестве, о мечтах, она жадная. Когда дело касается семейных праздников – она кормит всех гостей на убой. И приглашает их

побольше, побольше. Зачем – я не знаю. Видимо, так принято. Пока она будет угощать друзей деликатесами, я угощу врага битой, приду домой и попытаюсь отужинать, избавившись от биты, перчаток и Жоржа. Я смогу. Я высижу. Биту – в реку, перчатки – в огонь. Спички – это просто.

Жизнь тех, кто рядом, идёт своим чередом, и я стараюсь себя не накручивать, не давать себе нервничать, я просто жду нужный день, когда придётся идти по пятам. Я сделаю это хорошо и быстро. Я себе обещаю. Я даже не хожу в кино и не смотрю ужастики, чтобы не бояться. Не струсить в последний момент. После того, как меня поколотили, в школе был сделан вывод, что драться я не умею. Это было очень хорошо, нарочно не придумаешь. Я не умею за себя постоять. То, что нужно. Я был и обижен, что со мной опять что-то не то сотворили, и рад, что из-за драки с уличными хулиганами я кажусь более уязвимым. Однажды Жак пришёл мрачнее тучи ко второму уроку. Было видно, что-то совершенно нехорошее творится с ним. Мне стало любопытно, ну что они там? Оказалось, что его родители разводятся. Я чудом удержался от высказывания: «Не волнуйся, приятель, до развода не дойдёт». Иногда во мне просыпались мизантропические нотки. Я не любил их, но изжить из себя не мог. Человеконенавистник – это очень громкое слово. Я подумал о Дьяволе. Вот оно что, во мне сидит какая-то чертовщина, маленький огонёк, тревожный, скрытый от большинства глаз, будто маячок. Может, он у меня за ухом.

– Ты меня слушаешь, Ив?

– Нет, я учу уроки.

– Где твой костюм?

– Какой ещё костюм? Это не я жениться собрался!

– А что ты собрался делать? Почему от тебя один разгром?

– Думаю, что костюм в шкафу.

– Твоя сестра выходит замуж, а тебе наплевать!

– Моя двоюродная сестра.

– Прекращай этот цирк.

– Я волнуюсь из-за школы.

– Наконец-то! Прозрел! Я уж думала, ты никогда не возьмёшься за голову.

– Тётя Флёр. Я возьмусь за неё.

– Рада это слышать. В жизни просто так ничего не даёт, и чем раньше ты это усвоишь, тем будет лучше для тебя. И будь так добр, сделай лицо попроще, завтра всё-таки праздник. Ты весь последний год ходишь, как в воду опущенный. Ты принимаешь наркотики?

– Нет.

– Ты всё время что-то пишешь. Уверен, что это талантливо?

– Нет.

– Хочу, чтобы это прекратилось. Нельзя забивать себе голову тем, что ты особенный. Это, скорее всего, не так.

– А если так?

Не мог заснуть опять. Мне показалось, что кто-то слу-

шает мои мысли из-за стен. Я знал, что так думают только параноики. Или те, кто сошёл с ума. Попытался для успокоения вспомнить что-нибудь из детства, что-то хорошее – и не смог. Вот, опять эта моя мизантропия. Ночные мысли о самоубийстве. Кто изобрёл безопасную бритву? Какой-нибудь трус. Он на самом деле боялся порезаться сам, и поэтому придумал. Страх подтолкнул его к гениальному изобретению. Страх за своё горло. Завтра я выйду пораньше, хотя несколько раз видел, что Либерман как по расписанию с девяти до десяти вечера продолжает свои надменные прогулки. Он точен, как часы. Тут меня начало преследовать ощущение, что складывается всё слишком удачно для меня. Свадьба эта... народ. Все перепутаются, будучи пьяными – кто здесь, кто там. Подозрительно совпадает день.

Темно по вечерам. Листья с деревьев не опадают очень долго. Уже и не живые, а всё равно. Они создают укрытие. Что-то редкостное. А если меня кто-то ждёт? Да некому! Ну не устроит же мне Жак засаду? Исключено. Я придумываю себе всякие ужасы, как человек, который боится идти к врачу, заранее называет себе гробовым голосом наиболее жуткий диагноз. Я так боюсь, что моя речь заморожена. Это как будто я пишу полицейский отчёт. Он слишком сильно унижил меня, этот Жорж, чтобы мы могли с ним жить на одном свете. И даже в одной тьме мы бы с ним никогда не ладили.

«Я тебе не раб,

У меня есть крылья,
И пускай я слаб —
Моё зло сильно».

Вот что я имел ему сказать. Я скажу ему это дубинкой. Коротко и ясно, потому что на словах до него не дойдёт, и он дальше будет обжираться и барствовать, словно откормленная кальянная гусеница, вообразившая, что она важнее любой бабочки; этой гусенице уже никогда не полететь. Ожирение. Я часто крутил в голове эту сказку и никогда не мог понять, что в ней хорошего. А ещё «Маленький принц», точнее фраза: «Мы все родом из детства». Если это так, я хочу избежать Родины. Я вырвусь из этого повседневного полиэтилена, который не даёт дышать. Я должен. Я сделаю плохую вещь, и дальше будут хорошие. Я оставлю тётю и дядю, и школу, и это случится довольно скоро. За всё это время никто по-настоящему и не спросил, что со мной не так. Хотя только и говорили, что я разболтался, пошёл вразнос и говорю всякие колкости, и почему я, такой-сякой, не заправляю кровать и не радуюсь жизни. Много шума из ничего. Они ведь ничего не знали о моей жизни.

— Ив, ты хочешь поехать на юг?

— Да.

— Надолго.

— Не мешало бы. А что, дядя?

— Ничего. Хотел знать твоё мнение.

– Там лучше, чем здесь.

– Вообще-то, от себя не убежишь.

– А я попробую.

– Сначала попробуй закончить школу.

– Классные были каникулы в Ницце. Там повсюду море, чайки, аромат роз. Я даже забыл на какое-то время, что со всеми собачусь. Меня отпустило.

– Если ты не будешь собачиться, сможешь получить там работу.

– Не знаю, что за работа, но раз уж это так обязательно, я лучше не буду собачиться в Ницце.

– Будешь помощником садовника. Не сейчас, позже.

– Да хоть завтра. Уж больно мне всё это надоело. Да не то, чтобы только всё, но и все. Но, так уж и быть, я сначала доучусь, чтобы не выглядеть круглым дураком. Хотя круглым я и так не выгляжу.

Дядя вышел быстро и без комментариев. Видите ли, я звал их с тётёй «два толстяка». Дядя – толстый, я – желчный. Звали его Поль-Этиен, я говорил, что он – полиэтилен, когда дядя заплывал за буйки, нёс всякую чушь и поучения. В день свадьбы дочери его, вроде как, отпустило, тем более, что он придумал, куда бы меня, сорванца, сплавить! Вот зачем ему связи! Я всё равно найду способ заниматься литературой. Или он найдёт меня сам, одно из двух. Или всё будет плохо. Ив, помни. Сначала – убийство, потом – красота. Соберись и возьми себя в руки, в руки – битую. Встань и иди.

– Ты идёшь?

– Да, иду!

– Опять все ждём тебя!

– Вот он я!

– А ты сегодня симпатичный.

– Спасибо, Натали. Ты тоже.

Два часа проходят как в тумане, официальная часть заканчивается, пока эти жизнелюбы фотографируются на улицах прекрасного нашего Парижа, я иду домой, собираюсь и опять, и опять я нервничаю! Я как на иголках! Мне не с кем поговорить! При первой же возможности заведу себе друга или девушку, а лучше – и то, и то, это ведь разное. Надо иметь рядом кого-то, с кем можно обсудить переломные моменты. Меня трясёт. Я выхожу из дома. Жорж, наверное, скандалит с женой. Ему выходить ещё рано. Я так устал от него! От самой мысли о том, что он есть! Он превратил меня в параноика, одержимого мстью! У меня появилась мечта: вот бы у меня отшибло память. Нет никакого Либермана! Ницца – реальна, это – город, а Жорж – пустое место, призрак, фантом, провал в памяти. Стереть бы его. Я бы даже согласился на несмертельный удар по голове – буду щедрым! – на сотрясение мозга, лишь бы больше его никогда не вспоминать! Оставлю его здесь, под крышами Парижа, как старую пластинку, которая уже ничего не может играть, а только скрежещет, когда на неё ставишь иглу. Жорж, не стой под иглой! Нет, стой! Я тебя жду. Это ты переспал

со своей смертью, Жорж. И ею был я. Ты любишь тёмные аллеи? Любишь. Ты любишь мальчиков? Любишь. Хорошо, получи, мучитель, своё. Иди погулять, выкури сигару. Это твоё последнее желание. Ты и себя, и меня произвёл в преступники, как ни горько. Ты теперь умрёшь, а я буду в этом виноват. Я не буду оправдывать ни тебя, ни себя. Жорж, мне страшно. Мне страшнее, чем тебе, потому что я знаю, на что иду, а ты думаешь, что идёшь на прогулку.

– Жак, закрой за мной дверь!

– Сегодня я пойду с тобой!

– Нет, я сам. Мне надо подумать.

– О чём ты там думаешь каждый день?

– О том, какой могла бы быть моя жизнь. Дай мне спокойно погулять, ладно? Не будь, как твоя мать. Не лезь ко мне, когда я этого не хочу. Это очень раздражает.

Я его вижу. Он идёт, покачиваясь, будто бы под музыку. Чувствую этот вечерний ритм. Я помню, что в тот вечер играла музыка. Насилие не сочетается с ней, под это дело уж лучше тишина. Сейчас темно. Не «хоть глаз выколи», но так, что если ты идёшь тихо, тебя не видно. Я иду, как будто гуляю. Может быть, я устал после игры в бейсбол. Я сокращаю расстояние не торопясь, не прячась – иду себе, как можно ближе к деревьям, не по центру аллеи. Это будет в последний момент. Я жду, когда сдадут нервы, но они не сдают. Это хорошо, это удивительно. Ещё минуты три. Вот завернёт он за угол, там вообще никто не ходит и ничего не видно, это

старый угол парка, фонари освещают сердцевину, более важные аллеи. Так часто бывает в садах. Жорж рассказывал, что ему нравится в темноте. Нарочно выбирает маршруты, чтобы ходить незамеченным. «В этом что-то есть», – как он мне в своё время сообщил. Ощущение опасности. А может, он вообще из тех грязных типов, которые выскакивают из кустов, распахивая плащ? Ну, нет, это я уже загнул. Такие демонстрации – для слабаков. А Жорж – настоящий мужчина. Муж, отец и насильник. И художник.

– Аааа! Помогите! Сюда!

Я не верю своим глазам! Он падает! Прямо резко! Хрипит что-то. Появляется человек, ещё двое, я смотрю из своего жалкого укрытия. Он не хрипит больше.

– Вызовите скорую!

– Скорее!

– Где телефон?

– Поздно! Пульса нет!

– Он умер?! Кто это?

У Жоржа случился сердечный приступ, и он мгновенно отдал душу Дьяволу. Мучился секунд десять, это красная цена. Так нечестно. Если бы мы с ним могли поменяться – я бы с готовностью выбрал смерть от сердечного приступа, а не этот ужасный стыд! Несправедливо! Я ему не отомстил. И не отомщу. Я упустил свой шанс. Не будет никакого сведения счетов, никакого искупления. Приехали. Смерть украла его у меня! Он улизнул к ней под юбку. Так нельзя! Я не слы-

шу пока сирен. Я убит. Он мёртв. Мне нужно было сдать ему сдачи, я всё продумал! Теперь меня не за что ловить. Мне очень пусто. Я никогда не буду отмщён. Так вот и поступают с такими, как я. Кто-нибудь подумает: «Есть на свете Бог!» А я вот подумал, что нету. Если вы считаете, что я не прав, значит, либо у вас другой характер, либо вы не знали насилья. Так или иначе, вам повезло. Мне – нет. Проходят минуты, я слышу сирену. Я во второй раз в жизни ночью не могу заставить себя двинуться домой, до того мне худо. Даже после смерти этот проклятый нечестивец не даёт мне жить! Он надо мной просто издевается. Он любит так делать. Он умер, а я не рад.

– Ты где был, Ив? Что случилось?

– Я был тут, рядом. Гулял.

– И как, нагулялся?

– Да.

– Ты выглядишь как бука.

– Спокойной ночи.

Я уснул так быстро, как будто не спал всю жизнь. У меня не было сил думать. Я выбросил битую перчатку ещё по дороге домой. Мне позвонил Жак, то есть он позвонил нам домой и попросил, чтобы позвали меня. Сказал, что его отец умер в парке. От приступа. Жак повторял, что этого не должно было случиться, он не должен был умереть вот так! Я согласился и повесил трубку.

«Заруби себе на носу две вещи: во-первых, это тяжёлая и грязная работа, во-вторых, ты ничем не отличаешься от всей прочей прислуги». Я стал работать помощником садовника, но не зарубил. Я два года ненавидел эту работу. Она меня унижала. Я от неё уставал. Но деваться было некуда. Я постоянно что-то читал, надеясь, что от этого полегчает, и наткнулся на фразу: «Но слава сада в том, чего отнюдь не видит глаз». Если бы не Арман Видаль, меня давно бы вышибли. Понимаете, я, как мог, старался. На ярком солнце цветам лучше, чем людям. Последних ничем, кроме грязи, не поливают. Если они из простых. «Тебе не идёт работать в саду, правда, и не идёт. Может, ты и выполняешь некую декоративную функцию, но толку от тебя – чуть». Кто бы спорил. Мне нравился сад, но мне не нравилось там работать. Это были, что называется, большие садовые ножницы.

Дождь идёт редко – настоящий, сильный дождь – особенно среди лета, но после него всё такое умытое, такое свежее и глянцевое, и вместе с тем – усмирённое. Клумбу у левой стены дома я называл «Цветы зла». Эти вычурно-чувственные цветы у меня в голове ассоциировались со стихами Бодлера. Я никогда не мог понять, как можно радоваться тому, что имеешь, когда у тебя ничего нет. Только работа и комната, чтобы там спать. Чему все они радуются? О чём с ними говорить? Вот я и не говорил без крайней необходимости. Большинство моих коллег (коллеги, вы меня бесите!), короче, вся прислуга (ненавижу это слово) считала ме-

ня молчуном. А я очень люблю поговорить, только не вслух. По крайней мере, у меня долгое время не было подходящего собеседника. Так вот, дождь. Если стоять под дождём, можно на себе почувствовать фразу: «Я омыт, освящён и оправдан». Из-за этого я проводил дождь под открытым небом. Я слышал, что кто-то говорит: «Я не могу учить простых людей!» Я слышал: «Мне не нужен блудный кузен!», да, каждый день что-нибудь новенькое. «Знаешь, шестидесятые позади, как и твоя юность». Или даже так: «Ты ничего не понимаешь в политике, убирайся вон!» Я никогда не слышал, даже краем уха, чтобы кто-то кого-то любил. Никто не говорил об этом в доме, который построил Хью. Никогда. Наверное, я был слишком занят проклятой работой. От черноты красивой жизни хозяев мне хотелось, доброту хотелось, покончить с собой. Я им не завидовал. Там было нечему, кроме самого курортного города, сада, может, библиотеки. «Хозяева» – в двадцатом-то веке! Рабство отменили, а хозяйство – нет. Хозяйство- это хозяйство, без него во все времена – никуда. Старый добрый мужской вопрос: «Кто в доме хозяин?»

Я люблю время цвета сирени. Одним словом – весну. Сирень делает мир намного терпимее. Она ароматная и сладкая, дурманная, нежная, да что я объясняю? Все видели сирень в цвету. Но даже с закрытыми глазами ею можно дышать. Будто в воздухе распыляют что-то для повышения настроения. В общем, с цветами я всё же ладил лучше, чем с людьми. Даже будучи так себе помощником. Цветы я лю-

бил, вот в чём штука. Пора признаться: я не любил людей. Не так, чтобы до крайности, но что-то мне в них не нравилось. В них есть то, чего нет в цветах. Какая-то животность. Стадность, может быть. Есть люди, в которых нет этой дряни, это я точно знаю. Но в большинстве – есть. Это вызывает бессильную ярость, желание пойти и врезать по грушевому дереву кулаком со всей дури, чтоб как-то перекрыть это чувство людей. Они играют в маленькие игры. Они много едят. Они говорят то, чего не умеют. Они бывают грубы. Слепы. Жестоки. Кичливы. На свиней бывают похожи или на жаб-чесночниц. Им присуще насилие. Ложь. Похоть. Манерность. Жадность. Продажность. Визгливость. Бедность. Посредственность. Зависть. Тупость. Пустота. Непонимание. Бесчувствие. Уродство. Хитрость. Человек, любой, у которого есть ноги, способен вытирать их о другого. А если он безногий, то будет всеми командовать при удачном стечении обстоятельств, такой разжиревший и озлившийся на всех, у кого ноги есть, ненавидя их за то, что они могут пойти потанцевать. Вдвойне. За пойти и за танцы. Людям присуще предательство. Отречение. Экивоки. Обжорство. Грязь. Когда говорят: «Чистое зло», и то, кажется, хорошо. Оно чистое! Без этих маслянисто-сальных ужимок! А вообще зря я так разошёлся про чистоту. По долгу службы всё время ходил чумазым. Один тип сказал, что на моём месте он бы был опрятнее. Старый ханжа никогда не был на моём месте. А я – на его. И это хорошо.

В семнадцать со мной уже было что-то явно не так. Во мне что-то сломалось, будто в заводном апельсине, лет в четырнадцать, а к семнадцати деталь эта успела подзаржаветь. Я ходил в светло-серой одежде, опустив глаза в пол. И ещё я косил траву. Электрической газонокосилкой. То есть я заводил мотор, и цветущий луг обращался в аккуратный газон. Цветы были не нужны, они были дикие. И от этих газонокосилок такой шум. Меня называли «И». По ночам я не мог уснуть и стискивал зубы, мечтая, как говорится, подавиться собственной униженностью. Жизнь поставила меня на место рано. Кажется, я не был на своём месте. Моя жизнь ошиблась, и за это я её невзлюбил. Хью Годар – хозяин жизни и поместья, был деловым человеком, не то что богатые бездельники. У него были жена (малышка Мадлен) и дочь (Шарлотта). Хью был молод, ну уж точно не стар, хотя про таких говорят, что они без возраста. У Годара было энергии хоть отбавляй, но она только прибывала. Занимался он тем да сем. Это наиболее подходит под описание рода его деятельности. Строительство. Бизнес. Коррупция. Политика. Этаким будущий отец города, можно сказать, без пяти минут. Он спал по четыре часа в сутки. Город был относительно небольшим и курортным. Можно подумать, что это рай. Правда, можно, если ничего там не делать. Я как-то между делом разуверился в Боге. Верил-верил, и ушло. Я был фаталистом, верил в судьбу. Хью любил говорить так: «Я сочинил такую речь, чтобы весь городской совет прошиб-

ло!» Политики – это продажные фанатики. Им надо непременно проораться, прежде чем заработать город, страну или мир. Это у них такой разогрев. Хью время от времени говорил кому-нибудь из слуг, что он сочинил такую речь... И вот однажды очередь дошла до меня. Как он там заявлял? «Сегодня я поговорю с ними по-мужски. Я покажу, кто здесь главный. У меня в кармане такие козыри, что весь городской совет прошибёт!» Я не знаю, как я удержался от смеха. Видимо, лицо у меня в тот момент было каменное, и я сказал как можно серьёзнее: «Да, месье. Я верю. Их так скрутит, что они забегают, как угорелые по вашей указке». Он похлопал меня по плечу, позабыв про садовую пыль, и ушёл покорять совет города. Тут я согнулся и хохотал, как ненормальный, до истерики, до слёз. Я так не смеялся уже много месяцев. Меня скрутило от хохота. Вот такие речи вёл Хью Годар. Он был так самодостаточен, самоуверен и самовлюблён, что не понимал, какой он павлин. Деловой павлин. Шарлотта говорила: «Ницца – это не город, это большая деревня. Я хочу уехать в Париж». Её мать любила включать джаз и танцевать вечером с зажжённой сигаретой на пороге дома. Такое чувство, что без сигареты она как без партнёра. Малышка Мадлен – красивая женщина, чуть за тридцать. Она любила груши. Ей нравилось, что её дочь на неё похожа, а не на Хью. Это было ясно. Мадлен ничего не делала. Наверное, она так развлекалась. В ней было что-то золотистое. Из всей семьи она казалась единственной, в ком не было этой дряни, про

которую я говорил. Может, она была создана для наслаждений, а не для пакостей. Она была совершенно естественной. Однажды Мадлен спросила у меня, не хочу ли я грушу. Я не хотел.

– А чего ты хочешь?

– Ничего, мадам.

– У тебя что, всё есть?

– Appetita нет.

– Надо любить жизнь, глупыш. А то кончится – а ты не успел повеселиться.

Она протянула мне сигарету, и до темноты мы сидели на крыльце и смеялись. Без причины. Как равные. Широкие зрачки делают глаза огромными. Темнота – тоже. Это было только один раз.

Поговорка «в семье не без урода» сомнению не подлежит. Вопрос только в том, кто им станет. Будет считаться. У Хью Годара был кузен Арман Видаль, который носил прозвище «баный лист». До такого он добегался, разумеется, не сразу. К пятидесяти с хвостом, когда переехал в дом Хью. Арман родился большим умником, его хватило на то, чтобы отлично выучиться. Он знал историю литературы вдоль, поперёк, по диагонали и по вертикали, по горизонтали, в студенческие годы его прозвали «Справочник Видаль», есть такой, в красной обложке, правда, по лекарственным средствам. Армана Видаль подвело под монастырь безумие. Уже в школе он стал странным. К тридцати годам Арман был очень

странным, в сорок его разум начал медленно угасать. Медленно. Арман Видаль не знал любви. И не особо сокрушался об этом. Да ладно бы – не знал любви, он и спать-то ни с кем не спал! Это не было тайной. Один раз влюбился не в ту, и так начался его монастырь. Видаль был профессором литературы до поры до времени. Когда он стал заговариваться на лекциях, ему предложили взять длительный отпуск. Когда Арман начал ходить в кислотного цвета пиджаках и галстуках в форме питона, петь, чтобы показать «гулкость» древней речи, называть себя посланником мировой культуры, писать совершенно дикие вещи о себе в студенческой газете, его поперли с работы. Он очень бил кулаком в грудь. Не себя, а директора университета, где читал лекции.

Арман толком не пил. Не курил. Всё было у него без помощи порока. Вот оно, непорочное безумие. Почесав в затылке, Видаль решил заняться устройством собственной персоны. Он считал себя скромным, но тем не менее собрал чемодан на колёсах, набрался наглости и поехал в Ниццу. Жить. Без приглашения. Он действительно верил, что окажет кузену честь. Ещё бы, кто такой Хью? Увёртливый делец. А Видаль – это философ, да ещё и несправедливо обиженный. Видаль гордился тем, что видит истину там, где другие видят только пустоту или хаос. Считал себя светским человеком. Являлся везде без зова, на выставках, чтениях, богослужениях, похоронах и свадьбах он возникал буквально из воздуха. Такие фокусы никому не нравились, но Ви-

даль считал, что окружающие смущены тем, что он решил их осчастливить своим появлением. Говорил: «Здоровайтесь, не стесняйтесь». Ещё неизвестно, кто был более наглым – Хью или Арман. В дорогу Арман захватил несколько детективов скверного пошиба и такой же еды. За окном менялись картинки, Арман смотрел на молодёжь и пытался с ними разговаривать. Читал надписи на футболках и удивлялся. Он не унывал. Арман был таким оптимистом, что руки опускались. Его невозможно было ни в чём убедить или, наоборот, разуверить. Прокатиться на электричке для него – всё равно что совершить перелёт через Атлантику. Интересно. В нём было что-то детское. По дороге Видаль упарился и сошёл с поезда, утираясь платком.

Как только Хью увидел его из окна, сразу пошёл в свой кабинет и долбанул коньяка. Это не помогло. Кузен был с чемоданом. Хью выпил ещё. Теперь этот сумасшедший не даст никакой жизни! Ему нечем заняться, скорее всего, и он будет давать Хью умные советы, как лучше прожить на свете. Если ты – известное лицо, или, лучше сказать, публичное – нет ничего гаже, чем неблагоприятный поступок, о котором узнала хоть одна живая душа. Представьте себе, этот богатей выгнал взашей бедного родственника! Если бы не светские обязательства быть хорошим, то есть казаться таковым, Хью отправил бы Армана либо назад, либо в психушку. В общем, избежал бы как-нибудь ужасной участи жить под одной крышей с чокнутым профессором, который жаждет понима-

ния и внимания. Тогда Хью и сказал, спускаясь по лестнице: «Малышка, у нас беда. К нам приехал мой двоюродный баный лист, и это навсегда, как мне кажется». Мадлен только рассмеялась. Придётся сказать этому шляпнику, чтобы располагался, и вообще. «Мой дом – твой дом». В любой бочке мёда есть ложка дёгтя. Видаль сходу сказал, что он здесь всерьёз и надолго, так что вот. Попросил обед. Спросил, где здесь гамак. Устал с дороги. Такое перенёс за последнее время, что чувствует себя мучеником. С ним обошлись совершенно ужасно, его растоптали, не посчитавшись со знаниями. Всё это Видаль рассказывал уже за обедом, не забывая активно есть и жестикулировать. Похлопав Хью по плечу, Арман ушёл. Он был сыт, а все остальные – сыты по горло.

Я не разговаривал подолгу ни с кем, кроме своего дневника. Ночью я не мог спать. Днём я работал, но даже если бы нет – не заснул бы при всём желании. В моей бессоннице было нечто печальное и тёмное, будто я в чём-то крепко виноват, но не помню, что это было, и это щемящее ощущение не даёт мне спать, а я всё равно не вспомню, что же натворил. «Я не разговаривал с Мадлен после того случая под грушами. После того, когда ты развлекаешься, чувства обостряются. Чувство одиночества заливается за воротник, будто крепкий алкоголь или холодная вода. Я почувствовал себя грушей. Есть два вида груш: одни едят, по другим лупят. Мне не было весело, что странно, стало только хуже. Она съела

меня, как грушу, да и всё. Мужские одноразовые победы... видимо, я до такого ещё не дорос. Или уж я отношусь предвзято. Странно воспринимать ночь как оскорбление. Как пощёчину. Это лишь подтвердило то, что я – такая игрушка, которой можно пользоваться! Я не люблю полной темноты. Она вызывает ассоциации со смертью. Как будто тебя заперли в этой темноте. Интересно, почему Мадлен не бросилась на этого... Асуи, главного садовника. Он не вызывал у неё аппетита. Внешность? Знаете, сколько себя помню, она мне мешала. От неё ничего хорошего. „Ты чем-то напоминаешь актёра, ну того, как же его...“ Вот именно. Только в доступной форме. Стыд! Такой-то для бедных. Ой нет, для богатых. Вот уж не думал быть шлюхой. Вообще, я думал стать писателем. Мадлен пусть будет шлюхой, раз ей шляется. Стойте, она – мадам Годар. „Мадам“ – так называют хозяйку борделя. Кто у них там за старшую. Не был. Читал. Чёрт с ней, с мадам Годар».

– Что ты там пишешь?

– Свои впечатления, мадам.

– Мне любопытно.

– Это личное.

– Очень любопытно.

– Я пишу о том, до чего же паршиво быть игрушкой богатого человека. Я пишу, потому что говорить вслух об этом как-то неудобно. Того и глядишь, лишишься садовой работы. У меня ужасный характер, мадам. Люди просто об этом

не догадываются. Я стараюсь держать себя в руках. Но случается, я не выдерживаю, и начинается форменный кошмар. Я сам жалею о том, каких дров наломал, это обходится мне дорого с самого детства. Но я не могу сдержаться. Просто не могу.

– И что же ты делаешь такого ужасного?

– Ничего не делаю. Я говорю, что думаю, и от этого другим становится плохо.

– Обычно девушки изображают из себя оскорблённую невинность.

– Чтобы скрутить богатого человека в бараний рог и выйти за него замуж. Я читал про такое, мадам. А для пушшего эффекта они заводят ребёнка, не откладывая. Потом им становится скучно, и они изменяют надоевшему мужу с первым попавшимся садовником. Обкурившись. От пустоты жизни.

– Ты уволен.

– Пойду скажу месье Годару.

Мадлен смотрит на меня, и вся её золотистость сходит одним разом на нет. Её аж перекашивает. На губах она произносит: «Можешь остаться, только молчи». Я молчу. Она уходит. Стыд остаётся.

Если у вас нет и не было сумасшедшего родственника, вы не представляете себе, о чём тут идёт речь. Это страшно. Это не так смешно, как может показаться, но гораздо тяжелее. Если такой живёт рядом с вами, не имеет значения, в каком объёме комнат, – бойтесь! – он заполнит их все, словно са-

харная вата. Вы в ней погрязнете. Безумие – липкая вещь, которая со временем чернеет, пусть в начале пути было цветным, пёстрым, как в цирке. Посмотрите «Дорогу» Феллини. Цирк с участием чокнутого кончается трагедией. Хью Годара (про себя я стал звать его папашей, ему подходило) не так-то просто было вышибить из седла. Известно, что он был абсолютно беспринципен. Но нашлась такая бешеная лошадь, которая скинула его на землю. Вот это было кабаре! Прожив с Арманом Видалем всего месяц бок о бок, папаша Годар прикончил всю свою бутылку для тяжёлых случаев и начал думать: «Я ведь так сопьюсь, если он будет сидеть у меня на хвосте». Арман сорвал два приёма для так называемых высоких гостей. Ему бы по врачам ходить, но светские жуки прельщали Видаля куда больше. Он шокировал гостей Хью своей неуместностью. Он приставал с расспросами и ответами, выглядел незлобивой экзотической высокомерной пиявкой. Он думал, что может ставить себя на равной ноге с любым человеком, как сказал поэт. Но не здесь же! Ну как это можно не понять? Случись хоть что-нибудь, любая чушь, Видаль названивал своему кузену на работу. А тот был занят так, как многим и не снилось! Шарлотта не обращала на старого, по её мнению, придурка никакого внимания. Мадлен Видаль считал поверхностной и недалёковидной женщиной, и менять что-то, по его мнению, было уже слишком поздно. Слишком далеко зашёл процесс размягчения мозга Мадлен под влиянием ананасовых коктейлей. Видаль придерживал-

сы убеждения: «Я с дурами не купаюсь». Он выходил за пределы поместья, но там, видимо, не находилось никого, кто бы сошёл ему в собеседники. И Арман доставал своего брата. Немилосердно. У Хью стала болеть голова от заумных историй про древних писателей и молодых наглецов, которые переходят границы. Знания Армана казались бесполезными, а нытьё – иссушающе-утомительным. Нужно было спихнуть его кому-нибудь. Нужен был козёл отпущения, который возьмёт всего Армана Видаля на себя. Объектом отпущения оказался я. Хорошо ещё, для меня в этом была польза. Да ещё какая!

В конце весны ко мне подошёл папаша Годар с выражением лица, которое оставляло желать лучшего. Очевидно было, что у меня неприятности. Но, как выяснилось, неприятности были у него. Месье Годар сказал: «Если ты думаешь, что я ничего не знаю, ты очень ошибаешься. Я знаю всё, что творится в городе, не хуже любой сплетницы. Я всё понимаю, всё. Сейчас ты скажешь мне, что этого больше не повторится или ещё что-то такое, но поздно. Ты на работе занимаешься тем, что тебе нравится. Я знаю чем. Это всем известно. Ты пишешь». Ах, вот он про что! «И это неприемлемо. Моя жена знает, что ты сидишь и пишешь какие-то истории или что-то такое. В рабочее время! Даром тебе это не пройдёт. Я нашёл тебе новое применение, и поверь мне, если бы не крайние меры, я бы до такого не дошёл. У меня нет выбора. Ты меняешь профессию». Я не знал, как будет

отреагировать на это правильно. Было не вполне ясно, в чём подвох. «Ты будешь работать учеником моего кузена. Работать. Он тратит мои деньги и моё время. Первое – ещё ладно, но второе – нет. Ты сидишь в библиотеке часами, и я понятия не имею, почему ты не пошёл учиться. Мне это всё равно. Месье Видаль читал лекции, пока не сошёл с круга. По литературе и её истории. У него в голове куча знаний, но нам они не нужны. Как можно скорее ты пойдёшь к нему и попросишь его научить тебя быть писателем (он сумасшедший и поверит в такую чушь, будто это возможно!). Делай, что хочешь, лишь бы он мне на глаза не попадался. Чтобы он уставал. Чёртов умник хуже всего городского совета. Его ничем не прошибёшь. Мои речи против него бессильны. Так и от тебя будет гораздо больше толку. Избавь меня от Видаля». Я сказал Хью, причём без вранья, что это очень щедро с его стороны – подарить мне учителя литературы. Папаша Годар пояснил: «Будешь делать всё, что он попросит. Любую ересь. В магазин бегать ночью. И так далее. Вечером узнаешь. Запиши в свою тетрадь, чтобы не забыть. Это не профессора Видаля тебе подарили, а наоборот».

– Вот смотрю на тебя и думаю: «Хью решил приставить ко мне глаз да глаз. Чтобы я не мешал ему заниматься ерундой. Пускай у меня особые мозги, но я ими пользуюсь! Он нашёл мне занятие. Вот ведь до чего дошло». Хочешь правду? Хочешь или не хочешь – у тебя не получится.

– Что, месье?

– Тебе не быть сочинителем. Хотя ты и утверждаешь, что с пяти лет тренируешься. У тебя есть конфетка?

– Да, лимонная.

– Давай сюда. Спасибо. Так вот, я вижу, что этот твой писательский номер не пройдёт. Даже и не надейся. Мне не жалко, правда, учить кого-то литературе. Я любил свою работу. Но, должен сказать, извини, это не поможет. Дело не в том, что ты пишешь. Я прочитаю. У тебя не такая аура.

Я так и сел. Осел. Аура – это волшебное слово, которое помимо прочего обозначает изменение восприятия окружающего мира при сенсорной эпилепсии. Вас не трясёт, со стороны и незаметно, как то, что вы видите, становится подсвеченным и обтекаемым, слышимым и гармоничным, эмоциональным, странным, тревожным, фантастическим, пронизываемым и понятным. Другим.

– Откуда вы знаете про ауру?

– Я, может, и сумасшедший, но далеко не дурак. Когда ты ходил пешком под стол, я уже много чего повидал. И, потом, звёзды – это не шутки. Не надо сбрасывать их со счетов. Я увлёкся астрологией, и подумали, что я, так сказать, реханэ. Я ничем не хуже любого из них. Не надо думать, что психи – это прислуга нормальных людей!

– И правда, ни к чему. Вам нужно что-нибудь?

– Чай с жасмином. И с лимоном. И хорошую историю. Ну, давай, удиви меня, подставной ученик.

И ещё минут десять он рассуждает, ожидая свой горь-

ко-кислый чай, что его кузен очумел совершенно – взять его, Видаля, под контроль.

– Это, знаешь ли, унинительно.

– Знаю. Ваш чай.

– А твоя история?

– Извините. В этом всё и дело. Я любил кино, сколько себя помню, мне нравилось, что фильмы – это истории. Я захотел писать свои. Про мою собственную жизнь. Но они всегда распадаются.

– И ты на это жалуешься? У меня жизнь распадается лет с двадцати. По принципу энтропии. Ты знаешь, что это такое?

– Это греческое слово, обозначающее распад.

– Ты не знаешь, что это такое! Значение слова не всегда может передать его эмоциональный посыл, настоящий, истинный смысл. Это всего лишь формальное определение. Ты не можешь из букв сложить предложение, или из слов – рассказ, и думаешь, что это – распад! Мало ты знаешь.

– Распад, маэстро, это когда в самолёте какая-то деталь ломается, и он падает. Когда пьяница не может вспомнить, в чём он виноват перед своими детьми, чтобы извиниться. Когда картину поливают в музее кислотой. Когда разводятся. Да, когда сходят с ума и не могут, как раньше, им блистать. Когда бьётся посуда. Когда цветы засыхают и осыпаются. Когда умирают. И когда слова на бумаге превращают чувство отчаяния в бездарную невыразительную хрень – это

тоже распад.

– Знаешь, самые лучшие истории – это тайны. Они по определению содержат в себе интригу. Есть что-то, о чём знаешь только ты. Дальше ты нагнетаешь обстановку. В итоге раскрываешь секрет – и готово!

– Своя тайна должна быть или чужая?

– Для драматургии это не так важно. Другое дело, хорошо ли раскрывать чужие секреты. По-моему, плохо, хотя и крайне заманчиво.

– Как думаете, почему я не курю?

– Это твоя тайна?

– Что-то ничего посильнее не лезет в голову.

– Для первого раза сойдёт.

– Даже не знаю, что сказать.

– Начинай. Нагнетай обстановку.

– Я курил недолго. В старших классах. Однажды нам дали задание написать сочинение на тему «Собор». Надо было пойти в какой-нибудь собор и рассказать, какое впечатление он производит. Все, конечно, понесли в Собор Парижской Богоматери. А я со времён чтения Гюго смотреть на него не мог. Мне претила сказочность и приторная трагичность шедевра про Эсмеральду и козу. И я полез на самый верх, я имею в виду базилику Сакре-Кёр, поздно, в праздник, решил устроить загул на вершину Монмартра, я шёл, и мне нравилось, что я вижу вокруг. Всё в этом вечере. Я зашёл и стал внимательно смотреть, нет, вру, я растворился

там. Такое странное место. Древнее. Там пахнет мхом, кажется, что он и вправду там есть, капает холодная сырая вода, именно сырая. Всё такое древнее. Я почувствовал, что я сливаюсь с фоном, меня просто не становится. Подумал, сколько здесь всех было. Кто сюда приходил. Я не помню никаких икон, фресок, никаких деталей, не помню, что это был за праздник. Несколько минут там было тихо. Древняя, огромная тишина. Я ничего не рассмотрел, конечно, я бывал там раньше, но вот тогда я подумал: «Наверное, он тут и живёт. Бог. Наверное, он всё-таки жив, иначе я бы не чувствовал здесь присутствие чего-то, чего нет в других соборах. Молчание или мох, что-то, что стоит за спиной, и как будто смотрит внутрь тебя» Я постоял-постоял и отправился восвояси. Как только я оттуда вышел, мне показалось, на какую-то секунду, что за мной идёт тень, меня передёрнуло. Я стал спускаться. Тишина, казалось, спускается с холма вместе со мной. Как темнота. Настойчивое воспоминание, что я почти никого не встречал по дороге. Может, я не замечал. Это ненормально: в праздничную ночь – пустота. Я закурил. Я крутил в голове фразы, которые напишу в тетради, и пытался их запомнить. Я шёл медленно. Не сразу заметил человека. Он был лысый, злой, молодой. Он сказал: «Не думал, что ангелы курят». Я послал его к чёрту в ответ на это. Через пару секунд я увидел, что он был не один. Их было пять или шесть. Там ещё стояла девушка. В отдалении. Среди них. Я не знал, кто они такие. Тот тип попросил у меня сигарету

и его не злить. Я толкнул его и побежал. Я злился и боялся одновременно. А он заорал: «Иди сюда, маленький сукин сын, и получи по заслугам!» Мерзавец меня догнал. И, когда я разглядел его компанию, меня взяло такое зло, что я решил: «Хоть одному, да врежу!» Такие они были... отвратительные. Как летучие мыши в темноте. Как саранча. Я засветил этому лысому по морде. Это всё, что я мог сделать. Помню, что тот огурец заявил, что таким, как я, это полезно. Просто я не понимаю. Они меня поколотили; и я бросил курить. Это не гротеск: всякий раз, как я хотел зажечь сигарету, против воли представлял себе их. Я дал тому гаду прозвище Людоед. С тех пор я курил только один раз, да и то за компанию. Я не зажигал сигарету.

Утром меня разбудил свет, который казался мне навязчивым. Я дал Видалю прозвище Маэстро. Он не возражал. Сказал, что ему хочется насытить душу вечным, но прежде – позавтракать. Под завтраком Видадь подразумевал более чем серьёзное количество еды, под вечным – временную выставку полотен Ван Гога. Которую привезли, в павильоне, у нас, я там ни разу не был. Вот и он.

– Посмотри, видишь: вот это всё – мои лекции. Прежде чем мы начнём приводить тебя в ум, нужно сделать кое-что для меня. Ты молодец, что вчера рассказал. Я уже начал забывать, что у меня есть враги. Мы на выставке найдём тебе тему для сочинения. Ты напишешь, а я скажу, что не так.

В мыслях у маэстро был беспорядок. Думаю, его лекции

были разбросаны у него в мозгу, как тетради в комнате. Он и не думал приводить свой хаос в систему. Хорошо, что он вообще думал. Когда мы вышли, был уже полдень. Я рассказал ему, что знаю, почему Ван Гог рисовал такие картины. Это из-за дигиталиса. Спасибо доктору Гаше! Ранние картины Ван Гога – тёмные. Мрачные. Угнетающие. Как весна, которая наступила в Аду. Что-то такое. Дигиталис даёт возможность видеть жизнь в солнечном свете.

– Не болтай.

– Точнее, это его побочный эффект. Из-за него ещё может наступить цветовая слепота.

– Помолчи.

– Если пить его слишком долго или больше, чем надо.

– Что ты всё про плохое?

– Так и застрелиться недолго.

– И!

– А что, два варианта на выбор. Вы – художник. Так вот, первое. Ваши картины не покупают. Второе: вы не различаете цветов. Так вот: что хуже? При условии, что вы «отдали свою жизнь за искусство, и оно стоило вам половины ума».

– Никогда не слышал про слепоту.

– Это я домыслил. Наперстянка пурпурная растёт за домом, если что.

– Не надо за великих домысливать.

Мы рассматривали солнечные картины, и мне в голову пришла мысль: «Жажда жизни приводит к запою». Мно-

гое бы отдал за такую жажду жизни, но отдавать было нечего. Я просто смотрел на солнце, заливающее поля, дома, цветы, лица прохожих, на портрет доктора Гаше, на звёздную ночь, на Арльских дам. На автопортрет Винсента с отрезанным ухом. Мне стало любопытно, как в такую жару можно ходить в ушанке. Надо быть безумным гением, иначе никак. В ушанке на юге не высидишь при всём желании. Как он сказал перед смертью: страданиям нет конца? Как-то так.

– Эврика! Его последние слова. «Печаль будет длиться вечно». Вот о чём ты попробуешь сочинить историю! Пиши о чём хочешь, главное – отрази суть проблемы.

– На мой взгляд суть этой проблемы отражает фраза: «Плохие люди не меняются».

Видаль сказал, что ему нужно купить пару открыток для «парижских врагов». Под парой подразумевалась пара десятков. После выставки мы отправились на почту, где маэстро терпеливо сочинял развесёлые послания и писал адреса на конвертах. Он всем врал, что очень счастлив.

Враньё не может длиться вечно. По крайней мере, большинству лгунов нужен перекур. Врать – это как бежать на большой скорости, долгое время это могут делать только тренированные люди. А ещё у вранья существует феномен отдачи: чем больше ты врёшь о том, что всё хорошо, тем хуже чувствуешь себя после того, как выскажешься. Маэстро прорвало, как плотину. Не меньше. Он остановился и сказал: «Так уж и быть. Я расскажу тебе настоящую трагедию».

Пришлось слушать. Настоящая трагедия заключалась в том, что маэстро влюбился в шестнадцать лет в девушку.

– Она была француженкой, лучшего слова тут не найти. Была похожа на Францию. В берете, легкомысленная и хрупкая. При этом она ухитрялась танцевать и пить до упаду. Одновременно. У неё были карие глаза и алые губы. Она работала в цветочном магазине, но в ней был настоящий класс. Как бы тебе это объяснить? Она могла бы быть кем угодно, кем захочет. Она была собой. Я увидел её, и понял, что пропал. Купил цветов, меня за ними послали, а я не хотел идти, и ведь лучше бы я не пошёл! Вот она, интуиция. Иногда я думаю, что я – частица космоса. Я знаю заранее, что и как. Что пойдёт наперекосяк, я чувствую. Меня буквально вытолкали за цветами для тётки, у которой родился очередной ребёнок. Из всей семьи я был на посылках. А почему? Потому что я ни с кем не спорил и старался быть вежливым.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.